

ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ

СПАСЁННЫЕ ПТИЦЫ ХРИСТА

ЭССЕ

Я люблю одну маленькую притчу из “Апокрифа Фомы” о детстве Христа. Всякий раз, когда я вспоминаю её, она представляется мне живо, ярко, с подробной и отчётливой фактурой, с чёткой, почти осязаемой картиной происходящего, вплоть до серой гальки на берегу ручья, перемешанной с овечьим горохом, с верблюжьими следами на пыльной дороге, с жёлтой травой на плоских крышах Назарета, сухой и унылой, как остановившееся время.

Этот маленький приземистый посёлок среди выжженных холмов Галилеи, так похожий на какой-нибудь современный посёлок, затерянный в степях моего родного Оренбуржья, в тот жаркий летний день казался вымершим. Не слышно было ни пастухов, забившихся в тень редких деревьев вдоль ручья, ни гончаров и торговцев на кривых улочках посёлка: текла медленная и ленивая суббота, день всеобщей молитвы и отдыха. Только овцы, сгрудившись на берегу, всхрапывали время от времени и бестолково прятали головы в тень друг друга, да там, вдали, стайка мальчишек, окружённых собаками, посвистывая, носилась по знойным холмам, играя в неистребимую игру “купцы-разбойники”.

А на берегу реки сидел одинокий мальчик. Худощавый, смуглый, кудрявый — обыкновенный мальчуган безвестного пастушеского племени, осевшего когда-то на этой скудной земле, ставшей навеки родной, обетованной. Мальчику неизвестно ещё, что человечество скоро начнёт жить по времени, отсчитываемому от Его рождения, что каждое слово Его, произнесённое вскользь и проходя, станет священным и эхом будет отзываться в течение тысяч лет в миллионах человеческих душ. Откуда Ему было знать об этом, даже несмотря на то, что Его рождение было ознаменовано когда-то странными и необычными явлениями?..

День продолжался, длился, горяч, тягуч, бесконечен, он словно бы застыл сам в себе, в вековом этом задыхающемся полдне. Мальчик лепил птиц из глины и изредка посматривал на играющих сверстников, которые почему-то никогда не брали Его в свои игры. Он всё чаще начинал себя ощущать изгоем, в Нём была та едва заметная необычность, отмеченность, которую мальчишки всегда чувствуют своим безошибочным стайным чутьём, а по закону всякой стаи любое отличие — порок... .

Но мальчик никогда не обижался на это, Он только грустил, как и сейчас, и почему-то жалел и мальчишек этих, и весёлых псов рядом с ними, и этих овец, хрипящих от жары, и вон того старика, который брёл, опираясь на посох, прямо к Нему. Старика опять плохо отдыхалось в этот обязательный строгий молитвенный день, и вообще его уже давно что-то мучило, жгло сильнее этого солнца, этого знойного дня, раскалившего землю, как жаровню. Мальчик лепил своих птиц, отделявая тщательно крылышки и головки, и вдавли-

вал им вместо глаз тёмные камушки, которые придавали птицам живой и осмысленный вид.

Птиц было двенадцать, так получилось. Он расставил их полукругом, и они, высыхая, светлели прямо на глазах. Мальчик не знал, конечно, что они как две капли воды похожи на ржанных весенних жаворонков скифов-пахарей, живущих бесконечно далеко отсюда, что они ещё больше похожи на деревянных шаманских птиц вообще никому не известных финнов-гиперборцев, находящихся по ту сторону света. Да, мир единоисходен, но рассыпан давно и надолго, и время собирать его камни, его слова и знаки, его разлетевшихся птиц ещё не пришло...

Посверкивая почти живыми глазёнками, глиняные птицы светло и невинно восседали вокруг зачарованного ими мальчика, но уже нависал над ними дребезжащий и высокий голос сердитого старика, как-то уж слишком споро и незаметно возникшего рядом.

Сердце мальчика как бы остановилось в ужасе, и не столько от избыточной брани старика, возмущённого тем, что маленький негодяй оскверняет работой святой день субботы, а оттого, что самораспавшийся старик яростно взмахнул своим тяжёлым посохом, намереваясь разбить его птиц.

За мгновение до несчастья вся боль за ещё несвершившееся и весь ужас перед свершаемым собрались внутри в одно страстное желание, и мальчик закричал иступлённо:

– Летите!!!

Птицы, вспорхнув, улетели, а посох старика, разбрызгивая грязь и глину, бил уже по пустому. То, что птицы исчезли, унеся с собою, собственно, и причину для гнева, старик даже и не заметил, а мальчик, потрясённый ещё и опасностью быть побитым, выскользнул из-под палки и поспешил скрыться с глаз. Да Он и сам едва ли понял, что произошло, слишком тяжко было всё это, а помнить и нести в себе страсть и боль, собранные в единое слово в миг смертельной для родного опасности, было невозможно.

Но птицы были спасены...

Эта апокрифическая новелла¹, не вошедшая в христианский канон, всегда меня странно волновала и озадачивала. Мне казалось, что автор, задавшийся целью рассказать лишь о первых чудотворных деяниях Иисуса (сущность которого и без того была ярко озаменована ещё до его рождения), вопреки приземлённой сути вообще всех апокрифов, обозначил совсем иное: великую духовность и скрытые возможности человеческого Слова, первый, полубессознательный шаг юного мессии к статусу Христа, к своей будущей Нагорной проповеди – величайшей из проповедей, которые знало человечество. Но прежде всего, автор невольно выявил качества Божественного Слова, способ владения Словом, а через него – людьми, способ предельной духовной концентрации с мгновенным внутренним подчинением всего – единому, с абсолютной убеждённостию в том, что сказанное – истина, и – свершится...

Апокриф предполагает, что Сам мальчик Иисус после случая с птицами глубоко задумался над происшедшим. Да, Он неожиданно ощутил свою силу, вернее, силу найденного способа, но вначале едва ли был уверен, удастся ли Ему повторить подобное. Апокрифы запутанны в свидетельствах, но косвенно можно предположить, что будущий Христос, в конце концов, убедился, что в определённых обстоятельствах Его способ безотказен. Вот Он пугает учителя каббалистическими фокусами. Вот Он умерщвляет обидчика, правда, опомнившись, тут же воскрешает его. Судя по всему, Он применяет способ стихийно, упиваясь собственной силой, не очень-то размышляя, на что направить его, – и в родном Назарете становится со временем как бы носителем зла. Его начинают бояться. И близкие, удручённые Его опасной непредсказу-

¹ Дело в том, что апокрифы чаще всего ревизовались церковью из-за их так называемой "обмирщённости", "плотскости", из-за того, что богословие именуется сейчас "ренанизмом", по имени французского учёного и философа Эрнеста Ренана (1823–1892), написавшего известную книгу "Жизнь Иисуса". В ней Иисус представлен в виде плотского земного человека, порою невоздержанного и избыточно страстного. Этим грешили и грешат многие писатели-неофиты (Михаил Булгаков, Чингиз Айтматов и пр.) и некоторые псевдоправославные проповедники, например, небыизвестный Александр Мень. Наше эссе как раз предоставляет возможность увидеть разницу между духовным и плотским в отношении к христианским святыням и, кроме того, разглядеть апокрифический "механизм" самого "обмирщения".

емостью, решают наложить на Него руки, то есть попросту – убить, считая, что Он вышел из ума...

Позже с Ним происходит то, что этнографы называют инициацией, то есть посвящением, а каноническая христианская традиция – крещением. Посвящённый Иисус отправляется в пустыню и за сорок дней непрерывного поста и размышлений приходит к определению призвания, то есть, прежде всего, к внутреннему упорядочению открытого им способа владения Словом, направленною его исключительно на Добро...

Но это происходило уже за пределами апокрифа, который, повествуя о детстве Христа, случайно задел одну из неразгаданных тайн человечества: речь, язык, Слово. Тайна человеческого Слова, кроющаяся в его собственных внутренних свойствах, до конца ещё совершенно не выясненных, – это тайна не только Христа, христианства, предшествующих и последующих религий, это ещё и тайна поэзии, искусства вообще, это тайна прошлого и будущего человечества.

Слово-мысль, возникая между общающимися, создаёт ту особую сферу, которая зовётся духовностью, или, как её называли русские христианские просветители, – благодатью. Не имея видимой, осязаемой физической субстанции, слово, тем не менее, обладает огромной силой, и не только в собственных внутренних пределах, но и вовне. На первый взгляд, эта сила индифферентна, то есть безразлична к тому, на что она направлена, на добро или зло. Но это только на первый взгляд.

Уже то, что Слово, то есть само человечество в Слове, существует много тысячелетий и, мало того, сравнительно благополучно, говорит о том, что Слово, духовность имеет особые внутренние свойства, которые, в сущности, созидательны.

Но очевидна и начальная двунаправленность Служения (чёрная магия, чёрный шаманизм, современный сатанизм и манипуляции со Словом случайных проповедников разнообразных сект и пр.), которая возникает, когда носители способа лишены иницирующего, направляющего обряда...

Так что же такое Слово человечье? В чём кроются его удивительные свойства, как возникли эти свойства, почему не всякому дано выйти к тайнам их, к способу владения ими?

Можно ли различить Способ при современном состоянии Слова в высших его проявлениях, то есть в поэзии?

Что такое поэт вообще? Почему поэт, бывший когда-то носителем высокого пророческого статуса, ныне низведён не только до носителя статуса гражданского декларатора, но и просто зингрейтера, то есть сочинителя и продавца текстов?

Почему особое состояние носителей тайны Слова, то, которое когда-то называлось поэтическим безумием, а позже – более лояльно – вдохновением, стало для поэтов синонимом чего-то постыдного?

И не потерял ли статус поэта-пророка навсегда, за ненадобностью, и не качество ли новой изменившейся среды – причина тому? Кстати, Иисус, по контексту того же апокрифа, став уже признанным Мессией, в своём родном Назарете так и не смог больше ни произнести пророчества, ни произвести чуда. Это очень любопытный момент: способ действителен лишь в среде ожидающей, а среда Назарета была накалена отторжением...

Что такое Слово сегодня?

Почему оно выхолостилось и опростилось до мелких нужд любителей посудачить, до сплетни и клеветы?

Почему говорится о свободе и равноправии в то время, когда главная свобода человека свобода его словоизъявления и слововосприятия – подавлена и подменена тем, что почему-то называется *средствами массовой информации*?

Почему не Слово Добра, а грязное, растлевающее слово дённо и ночью вдалбливается в уши “свободных” граждан, а резонное желание заставить замолчать это чужое и враждебное слово, чтобы оно не сеяло ложь, не растлевало детей и не мучило стариков, считается едва ли не преступлением?

Почему процветает вопиющее непонимание, что истинная, скрытая сила Слова таится не во внешних его проявлениях, но во внутренних, и что, в конце концов, растлители, лжецы и поборники зла сами пожнут то, что посеяли, о чём буквально вопиёт вся мировая история?..

Маленькая новелла из “Апокрифа Фомы”, навеявшая так много и так сразу, конечно не содержала в себе ни вопросов, ни ответов. Но она не содержала и ничего лишнего, так как по законам мифологизации всё, даже самая незначительная деталь, служит целому и находится в полной гармонии с ним. В новелле же присутствовал момент, который, на первый взгляд, не помещался в особую мифологическую необходимость: ожившие птицы Христа (ведь мальчик мог лепить и не птиц). Их таинственная связь с произнесённым словом, внутренняя совмещённость с ним, синкретность взаимодействия — всё несло некий предмифический субстрат, какое-то изначальное понимание единоисходности, которое было то ли позабыто уже, то ли, как общеизвестный факт, ещё не требовало тогда особых пояснений.

Слабая догадка, неожиданная, но не случайная, постепенно переросла в размышления, которые долго не ложились на бумагу. Мешало многое, но больше всего смущала необходимость вторжения в чужие, как мне казалось, пределы, нет, не запретные, но давно и крепко освоенные теми, кто так и не сумел внятно ответить ни на один из витающих над ними вопросов...

Но однажды осенью, когда над Иртышом, легко скользящим в золотом обрамлении тополей и черёмух, потянулись на юг сибирские птицы, эти огромные, беспрерывно накатывающиеся стаи, станицы, армады грачей, галок, скворцов вперемежку с провожающими их воронами, когда медленный шелест неисчислимых крыл переполнил воздух и слился словно бы в единый гул, в звук печального прощающегося предупреждения, мне показалось, что в нём слышится не только это.

И пока первое беглое ощущение выражалось, как это часто бывает, поспешными стихами, я уже, кажется, знал, что предсказывали птицы, вся эта воистину тварь Божья. И если и я, никогда не учившийся их языку, вдруг на мгновение понял его, то наверняка подобное происходило с людьми тысячекратно, — и в этих забытых беседах с горным, летящим, заповеданным, возможно, и произошло таинственное сперва предвосхищение Слова, а затем и выход к Способу овладения им, на что и намекал удивительный апокриф, бессознательно запечатлевший, быть может, самый первый завет Христа — взлетающую и самоспасительную суть человеческого Слова...

А стихи, как след того мгновения, запечатлели только начало даже и не прозрения, а слабого предощущения и собственной малой, но нерасторжимой связи с миром Божьим, осуществлённой для нас завещанным на века Словом:

*Ветер взовьётся, и птицы взлетят,
И потемнеет, на миг обессилив,
Воздух, промешанный сотнями крыльев,
Перетекающих в дальний закат...*

*Я ничего не хочу от тебя,
Жизнь, ты дана мне, и этого хватит —
Этих взлетающих птиц на закате,
Этого ветра, чтоб жить, не скорбя.*

*Этих отмеренных случаев дней
Хватит, чтоб ими сочечь свою участь,
Лишь бы любимых суметь не измучить
Неугомонною жизнью своей...*

*Вот и опять поднялись, поднялись
Тёмные тени без снов и пристанищ.
В этих взлетаниях разве не станешь
Сам полутенью, взметнувшейся ввысь?..*

*Ветреной птицей, сквозь и трубя,
Перечеркнуть бы вечерние тучи!..
Жизнь, золотой мой закат неминуемый,
Я ничего не хочу от тебя.*